

И.В. Бруяко

**«НАВЯЗЧИВЫЕ ИЛЛЮЗИИ»,
ИЛИ СУРОВЫЕ БУДНИ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ I тыс. до Р.Х.**

**Некоторые размышления в связи с выходом книги С.И. Лукьяшко
«Предскифский период на Нижнем Дону». Азов, 1999. (Донские древности.
Вып.7.) 240 с.: илл.134.**

I.V. Bruyako. «Fixed Illusions», or Harsh Days for the Population of South-Eastern Europe in the Early I Millennium BC. (Some ideas on S.I. Lukiashko's recently published book *Predskifskii period na Nizhnem Donu* («Pre-Scythian Period on the Lower Don»). Azov, 1999. (*Donskie drevnosti*, No. 7) 240 p.: 134 ill.).

The article is a commentary on S.I. Lukiashko's monograph which analyses archaeological situation on the Low Don in the pre-Scythian period of the early Iron Age. Some aspects of this problem are considered from Eurasian perspective.

Появление новой книги по предскифской проблематике юга Восточной Европы – факт, сам по себе уже заслуживающий повышенного внимания. Если учесть безусловную фундаментальность темы, в сочетании с её крайней дискуссионностью, то это внимание становится уже напряжённо-предвкусующим. А поводов для дискуссии более чем достаточно. Это различные, часто взаимоисключающие, модели культурогенеза, предлагаемые для этой эпохи; достаточно заметный произвол в трактовке и соотношении понятий «киммерийская» и «франнескифская» культуры; добровольный уход части исследователей в глубь предскифской темы, когда подсчёт количества насечек на грызлах удила становится самоцелью, а в результате утрачивается перспективное («панорамное») восприятие тематики в целом; и т.д. и т.п. В итоге необходимо признать, что упорядоченности и хотя бы внешней гармоничности в киммерийской проблеме сейчас значительно меньше, чем 20 лет назад. Её состояние на сегодняшний день таково, что мы находимся на пороге грядущей трансформации понятия «киммерийский мрак» в следующее по качеству состояние – хаос.

Для наведения порядка в данной рубрике, прежде всего, необходима сводная публикация соответствующих археологических материалов. Причем основа для неё давно существует в виде

монографии А.И. Тереножкина, которую на первом этапе сбора информации можно просто дополнять, несколько видоизменив территориально-географическую структуру подачи материала. Однако в масштабе всей Восточной Европы создание такого свода-справочника в настоящее время, скорее всего, нереально. Препятствий к этому хватает. Одним из них, как ни странно, следует считать огромное количество литературы, выходящей на постсоветском пространстве совершенно бессистемно, а потому с трудом поддающейся какому-то контролю. Отсюда объективные трудности на пути к оперативному знакомству с этой литературой. Не будет способствовать выполнению данной работы и разобщённость научных центров и исследовательских групп.

В создавшейся ситуации крайне важными кажутся публикации сводов источников по региональному принципу, где были бы собраны воедино археологические комплексы предскифской эпохи конкретной географической, или административно-территориальной области. Разумеется, ценность таких сводов напрямую будет зависеть от их полноты. Понимая, что «искушение интерпретацией» источников в данном случае почти непреодолимо, оптимальной структурой свода следует признать разделение в нём описательной (сводно-каталожной) и интерпретационной частей.

Такого рода книгой и является монография С.И. Лукьяшко.¹ Здесь собраны рассеянные до сих пор по разным публикациям комплексы и отдельные диагностичные находки из бассейна Нижнего Дона, датируемые предскифским периодом. Часть из них публикуется впервые. Всего в распоряжении автора оказалось 88 комплексов и 8 случайных находок, сосредоточенных в довольно компактной географической области. Учитывая, что из числа комплексов-погребений на долю безынвентарных приходится всего лишь 5, корректность выборки следует признать достаточно высокой. С.И. Лукьяшко, по-видимому, сумел избежать соблазна, перед которым часто не могут устоять некоторые другие исследователи. Это стремление во что бы то ни стало расширить круг источников, включая в него комплексы, принадлежность которых к предскифскому периоду выглядит отнюдь не очевидной.²

Помимо сбора опубликованных материалов, автор, на основе архивных данных, провел и весьма полезную работу по уточнению и дополнению характеристик целого ряда комплексов (погребения у хут.Верхнеподпольный, Весёлый, Солёный, Обрывский, «Аксайский клад», Ростовский курган 1939 г., Новоалександровка, кинжал из Таганрогского музея). В результате некоторые из них обрели новые, весьма существенные характеристики (к примеру, Верхнеподпольный, Ростовский курган), а другие вообще предстали в принципиально ином облике (Весёлый).

Правда, что касается интерпретации отдельных комплексов, то здесь с автором можно соглашаться не всегда.

Погребение в подбое у хут.Камышеваха (кург. 5 погр. 4) сопровождалось лепным сосудом с шарообразным туловом и коротким прямым горлом. По тулову нанесен резной орнамент в виде сильно вытянутых, «заштрихованных» треугольников. Автор солидарен с В.Е. Максименко, который отрицал раннесарматскую принадлежность комплекса и датировал его переходным периодом. На мой взгляд, есть еще больше оснований соглашаться с О.Р.Дубовской, которая отнесла это погребение к раннескифскому времени (группа древнейших скифских погребений; Дубовская 1997: 202-203). Форма сосуда (а в особенности его орнаментация) достаточно типична для кизил-

кобинской керамики Горного Крыма. Это обстоятельство было отмечено С.И. Лукьяшко (с. 174). Однако, в таком случае, погребение у хут. Камышеваха действительно можно соотносить с раннескифским, а не с переходным (предскифским) временем.

С керамической традицией кизил-кобинской культуры автор совершенно справедливо связывает и ещё один сосуд – из погребения у с. Клуниково (с. 126). Единственное, что опять-таки необходимо учитывать при выводе таких комплексов на абсолютные даты, – это то, что на кизил-кобинской керамике резной орнамент появляется только в VII, или даже не ранее середины VII в. до Р.Х. (Колотухин 1996: 43, 57). Таким образом, датировка погребений с подобной керамикой VIII веком совершенно исключается.³

Резной декор на корчаге из погребения группы Потайный-I (хут. Семенкин кург. 2 погр. 2) вряд ли можно сопоставлять с орнаментальными композициями на жаботинской керамике (с. 125). В данном случае такие сопоставления нужно проводить, скорее всего, на геометрической орнаментике кобанской керамики. Так же, как и в отношении кувшина из Грушевского могильника, на что и указал сам С.И. Лукьяшко (с. 177).

Не вполне убедительным выглядит аргумент, привлекаемый автором для подтверждения датировки комплекса из-под г. Аксай («Гиреева могила»). Здесь С.И. Лукьяшко следует за В.Р. Эрлихом, который датировал комплекс концом VIII – первой пол. VII вв. до Р.Х. С этим можно соглашаться или не соглашаться (последнее предпочтительнее). Однако вряд ли такая дата «...находит подтверждение в дневниковом рисунке фрагмента сосуда раннескифского облика...» (с. 127). Это почти очевидно, если мы посмотрим на этот унылый фрагмент, изображенный на рис. 16.

Комплекс из-под с. Новоалександровка, при всей его условности, заслуживает самого пристального внимания. Он из разряда тех одиноких находок, способных изменить традиционное русло, в котором неспешно протекает полемика по той или иной проблематике. Притом, что комплекс впервые был опубликован более десяти лет назад (Беспалый, Парусимов 1991), ни тогда, ни сейчас никто не обратил внимания на

¹ Чуть позже, в 2000 г., вышел подобный региональный свод по киммерийским и скифским памятникам степного Крыма (Колотухин 2000).

² Довольно ярким примером могут служить работы О.Р. Дубовской, в которых фонд источников по предскифскому периоду Северо-Западного Причерноморья существенно пополняется за счёт таких, достаточно спорных комплексов (Дубовская 1993; 1994).

³ Предпринимаемые в последнее время попытки удревить появление резного орнамента на лепной керамике кизил-кобинской культуры пока выглядят неубедительно. Так, С.Н. Сенаторов предлагает датировать его появление еще VIII в. до Р.Х. «...в связи с общим удревнением раннескифских памятников...» (Сенаторов 2000: 162). Совершенно непонятно, как могут быть взаимосвязаны эти два явления. Разве только в том случае, если не видеть различий между резной геометрической орнаментацией Жаботина и Кизил-Кобы.

фрагменты керамики, обнаруженные рядом с изваянием.⁴ А ведь эти фрагменты поистине выглядят посланцами иной цивилизации. Этой цивилизацией является среднегалльятская культура Басарабь, хорошо известная в Карпато-Подунавье. Даже не глядя на «оригинал», одного рисунка (рис. 49: 1) вполне достаточно для того, чтобы *утверждать*: перед нами бесспорный импорт. Этот факт выглядит тем более ошеломляющим, что до сих пор явный басарабский керамический импорт не зафиксирован в степях восточнее Днестра. Судя по резной и особенно штампованной орнаментации, нижнедонские фрагменты можно отнести к фазе развитой Басарабь и датировать концом этапа НаВ₃ (по схеме Г. Мюллера-Карпе).

Размышления над этим совершенно неожиданным сюжетом, возможно, будут более продуктивными, если мы найдём некоторое сходство, объединяющее курган с Нижнего Дона с двумя хорошо известными киммерийскими подкурганскими комплексами из Северо-Восточной Болгарии (Енджа и Белоградца). Датировка обоих захоронений помещается условно вокруг 700 г. до Р.Х., при том, что Енджа старше. Напомню также, что погребение из Белоградца сопровождалось изваянием, которое достаточно давно и хорошо известно. В погребении, помимо прочего, зафиксированы чернолощенные сосуды фракийского типа. Один из них по форме повторяет экземпляр из Енджи (Kossack 1980: 128). На этом информация о керамике из Белоградца исчерпывается. Однако мы знаем, что сосуды из Енджи, типологически и технологически, скорее всего, можно соотносить с этапом Бабадаг-III, который, в свою очередь, синхронизируется с культурой Басарабь.

Поскольку любая монография как бы предусматривает некую синтезирующую часть, то, по-видимому, автор данной книги тоже попытался её сформулировать. Но вышло это как-то не слишком заметно для окружающих. Создаётся впечатление, что С.И. Лукьяшко избегает высказываться по этому поводу более или менее определенно, предпочитая внятной позиции крайнюю осторожность в резюмирующих суждениях, граничащую с неуверенностью. Заявленное в одном месте монографии опровергается по смыслу, а иногда и буквально, – в другом. Иногда остаётся неясным, где собственное мнение автора, а где свободное изложение

чужой точки зрения. В итоге читатель, пытаясь «смонтировать» из множества отдельных текстовых фрагментов более или менее целостную реконструкцию, вынужден как бы «додумывать», «договаривать» за автора.

Взяв на себя эти функции, быть может, и несколько самонадеянно, следует полагать, что С.И. Лукьяшко не является сторонником теории миграции как основной, объясняющей единство культуры ранних кочевников Евразии. Фактически своё мнение на этот счёт автор а priori декларирует уже в начале книги: «Переход к новым формам хозяйствования и к использованию нового металла происходит практически одновременно в различных уголках аридной зоны Евразии, *создавая иллюзию масштабной миграции*, изменившей культуру и народонаселение степи» (с. 5; подчеркнуто мной – И.Б.). Это, по всей видимости, можно считать концептуальной авторской установкой, которая, примерно в том же духе, ещё раз озвучена в «Заключении» (с. 208).

Перейдём непосредственно к району Нижнего Дона. Кто же составлял здесь основу (субстрат) местного населения в предскифскую эпоху? В рассуждениях автора по этому поводу много неясных, а иногда и противоречивых моментов. «Проведенные наблюдения, – пишет С.И. Лукьяшко, – позволяют видеть в позднесрубных племенах основу, на которой шло формирование культуры предскифского населения Нижнего Дона» (с. 193). Однако сейчас само наличие позднесрубного населения в Северо-Восточном Приазовье – факт, очевидный далеко не для всех. Мнения специалистов на этот счёт довольно сильно разнятся. Ряд исследователей предлагает ограничить развитие древностей срубной КИО в данном регионе XII в. до Р.Х. Другая часть, к которой принадлежит и С.И. Лукьяшко, находит возможным выделить здесь позднесрубный горизонт и датировать его XII-X или даже IX вв. до Р.Х. Кто-то вообще предлагает не искать в этой весьма малочисленной, но чрезвычайно пёстрой группе памятников позднего бронзового века срубные черты, а объединить ее понятием «постсрубный» горизонт, группа и т.п. Не будучи в достаточной степени компетентным в данном вопросе, отмечу одно, слишком уж явное обстоятельство. Плотности и репрезентативности источников в данном регионе совершенно недостаточно для того, чтобы заполнить понятие «позднесрубный горизонт» полноценным археологическим содержанием. Скорее всего, именно поэтому для утверждения за этим горизонтом официального статуса его крайне скудную источниковую базу обычно проецируют на

⁴ В который раз с сожалением приходится констатировать отсутствие «пророка в своём отечестве», поскольку нашёлся все же исследователь, который обратил внимание на эти фрагменты (Metzner-Nebelsick 1998: 411). Однако, плохо зная восточноевропейские материалы, она не смогла оценить значение этой находки

смежные степные области. При этом, чаще всего, взоры исследователей устремлены на запад, где в степях между Дунаем и Днепром существует довольно мощный археологический фон в виде памятников белозерской культуры.

Итак, С.И. Лукьяшко полагает, что позднесрубное население обитало на Нижнем Дону в X в. и даже в IX в. до Р.Х. (с. 30). Дальнейшее, внимательное знакомство с системой доводов, которую конструирует автор, пытаюсь обосновать верхнюю дату позднесрубного горизонта, способно убедить лишь в том, что для него самого эта дата остаётся не вполне ясной. Так, керамику с поселения у хут. Потайный и группы поселений у хут. Весёлый, по мнению С.И. Лукьяшко, можно считать позднесрубной, принадлежащей памятникам «ивановского типа». Однако синхронизировать их с белозерской культурой нет достаточных оснований. Верхняя дата этих памятников неясна (с. 29-30). О существовании позднесрубного населения на Нижнем Дону ещё в X-IX вв. может свидетельствовать находка костяного псаля на Раздорском поселении и керамика с заострёнными венчиками – на Батайском (с. 30). Этим, по сути, исчерпывается перечень поселений, претендующих на место в позднесрубном горизонте.

Ненамного лучше обстоят дела и с погребальными комплексами. Говоря о группе погребений, выделенных Э.С. Шарафутдиновой, С.И. Лукьяшко замечает: «Кроме обряда, в котором заметны новационные признаки, в пользу срубной принадлежности комплексов ничего не свидетельствует» (с. 20). Чуть ниже автор пишет о появлении подкурганых погребений с чертами позднесрубной и раннечерногоровской обрядности (с. 30). В итоговой, резюмирующей главе мы узнаём о том, что из следов позднесрубного влияния (которое, оказывается, было наиболее ощутимым) на культуру предскифского периода Нижнего Дона, прежде всего, следует отметить влияние погребального обряда (с.192).

Доживание позднесрубного населения в регионе вплоть до раннечерногоровского времени подтверждает, по мнению С.И. Лукьяшко, более длительное использование некоторых вещей-хроноиндикаторов, типичных для финального этапа позднего бронзового века. Речь, в частности, идет о ножах-кинжалчиках белозерского типа.

Логическая цепочка здесь выстраивается следующим образом. Эти предметы были найдены в относительно поздних, а точнее – не самых ранних, слоях Кобяковского поселения (с.152). Далее. В кургане 3 могильника Криво-

лиманский-III, помимо прочего, были зафиксированы два погребения с идентичным обрядом труположения (вытянуты, головой на СВ). В одном из них был найден бронзовый черешковый кинжалчик с параллельными лезвиями (рис. 65). В другом – бронзовый нож с отверстием на рукоятке, т.н. «сибирско-казахстанского» типа (рис. 66). По мнению автора, в данном случае можно говорить «...если не о синхронности, то о культурной и хронологической близости погребений» (с. 116). И затем следует предположение о том, что белозерские ножи-кинжалчики встречаются в ранних черногоровских погребениях на Нижнем Дону (с. 116). А это в абсолютных датах будет соответствовать искомому IX в. до Р.Х.

Подтвердить эту же дату, по-видимому, призвана и отмеченная ситуация на Кобяковском поселении. «Тип белозерских ножей существовал на поселениях кобяковской культуры в IX в. до н.э. Типологическая близость ножей с поселения и ножей из степных погребений позволяет переносить на них хронологические наблюдения» (с. 152, 154). Видимо, здесь автор хотел сказать, что находки ножей белозерского типа не в самых ранних слоях кобяковских поселений могут свидетельствовать о существовании белозерских (=позднесрубных) памятников на Нижнем Дону ещё в IX в. до Р.Х.

Конечно, вполне возможно, что отдельные вещи-маркёры белозерской культуры в инокультурной среде могут бытовать несколько дольше. Однако может ли это служить достаточным основанием для фактического переноса верхней даты позднего бронзового века, в данном случае в Подонье-Приазовье, – неясно. Что касается синхронизации «сибирско-казахстанских» («карасукских») и «белозерских» ножей, то здесь выводы могут быть прямо противоположные тем, которые делает С.И. Лукьяшко. Такая встречаемость, если считать, что она надёжно зафиксирована двумя разными погребениями под одной курганной насыпью, вполне может указывать и на более раннее появление восточных ножей в Нижнем Подонье, а не на консервацию белозерской традиции. И, возможно, интерьер погребения 4 кург. 2 (Весёловский зерносовхоз), которое, в конечном счёте, привлекается С.И. Лукьяшко с той же целью – подтвердить синхронность белозерских и «карасукских» ножей в раннечерногоровское время, как раз и свидетельствует о появлении последних в несколько более раннее время. Во всяком случае, форма каменного топора из этого погребения – абсолютно нетипичная для предскифского периода. И хотя в Нижнем Подонье известен ещё один предскифский комп-

лекс с ладьевидным топором (Верхнеподпольный), это едва ли не весь перечень степных древностей этого периода с подобными находками. В конечном итоге, сам автор отмечает архаизирующий облик комплекса у хут. Весёловский, полагая, правда, что он относится к раннечерногородскому времени (с. 155-156). Согласимся, что при известных обстоятельствах понятия «раннечерногородский» и «позднебелозерский» – взаимозаменяемы.

Попытки отстоять для позднерубных древностей место под довольно-таки «тусклым солнцем» IX в. до Р.Х. заканчиваются совершенно неожиданно. «Наличие позднерубных памятников в степном Подонье не вызывает возражений. *Сомнение вызывает датировка верхней границы этой группы памятников IX в. до н.э.*» (с. 191; подчеркнуто мной – И.Б.).

Гораздо более наглядным компонентом, составлявшим население Нижнего Дона в предскифскую эпоху, является кобяковский фактор. Его наглядность проявляется в виде совершенно реального блока памятников оседлого населения X – нач. VIII вв. до Р.Х. (с. 20). Поскольку в хронологии кобяковской культуры С.И. Лукьяшко в основном следует за Э.С. Шарафутдиновой, то мы по-прежнему можем констатировать редчайшую для причерноморско-приазовских степей начала I тыс. до Р.Х. ситуацию – наличие оседлого населения, памятники которого представляют собой зримое (хотя и не полное) хронологическое звено между эпохой поздней бронзы и раннескифским периодом. В условиях едва ли не тотального исчезновения оседлоземледельческих сообществ степной зоны этот факт, действительно, совершенно неординарен. Ведь, за исключением Нижнего Поволжья (памятники нурского типа), в Каспийско-Причерноморской степной зоне в предскифский период мы не знаем никаких очагов оседлости. Правда, есть еще бассейн Кубани. Однако, учитывая, что появление кобяковских памятников на Нижнем Дону в X в. до Р.Х. по-прежнему рассматривается как результат их сегментации от кубанско-северокавказского блока оседлых культур, мы вправе объединять кубанский и донской очаги в культурно-хронологическом отношении. Что же касается территориального объединения, которое может произойти в случае, если синхронные памятники будут обнаружены в Восточном Приазовье, то похоже, пока об этом речь не идет (с. 20).

В связи с давно известным очагом оседлой кобяковской культуры заслуживает всяческого внимания точка зрения С.И. Лукьяшко, объясняющая возникновение этого феномена на фоне едва ли не полного запустения степей Во-

сточной Европы. Речь идёт о форме хозяйственно-экономического компромисса с природой, который сумели найти кобяковцы в условиях глобального экологического кризиса рубежа II-I тыс. до Р.Х. Этим компромиссом была специализация кобяковского населения на рыболовстве, позволившая ему «...пережить климатические изменения начала I тыс. до н.э.» (с. 195). Правда, здесь сразу же возникает следующий вопрос. Почему этот выход нашли, в общем-то, пришлые кобяковцы, а автохтоны-срубники предпочли «раствориться» во времени и пространстве? Ведь и те и другие, согласно автору, полтора-два столетия обитали по соседству друг с другом.

И всё же в основе населения низовьев Дона в предскифскую эпоху лежал позднерубный субстрат (с. 192-193). Формирование культуры предскифского периода в регионе – результат последовательной эволюции позднерубной культуры. Впрочем, известная одиозность последнего тезиса несколько сглажена. На эволюцию срубной культуры оказывало «сильное» влияние «историческое окружение» и «формирующийся новый хозяйственно-культурный тип» (с. 194). Надо понимать, что эти два фактора действовали по отдельности и независимо друг от друга? Отметим деперсонифицированную автором, ставшую вдруг самодостаточной, субстанцию «хозяйственно-культурного типа», и посмотрим на «историческое окружение».

Прежде всего, «...мы можем уверенно исключать предскифское донское население из *киммерийского этноса*» (с. 205; подчеркнуто мной – И.Б.). Это определение надо признать совершенно несвоевременным вкладом в терминологию предскифского периода, и без того запутанную. Однако оставим этот пассаж в стороне и перевернем страницу. «Изучение памятников предскифского времени на Нижнем Дону привело нас к выводу о том, что культура этого периода является составной частью культуры европейской степи» (с. 206). Первая цитата, как будто бы, достаточно явно подразумевает, что раз донское население предскифского периода можно исключать из «киммерийского этноса», то должно существовать нечто, из чего можно что-то исключать. Однако автор, по-видимому, так не считает. Вторая цитата, из которой следует, что модель культурогенеза в предскифский период на Нижнем Дону фактически является микрофазой общеевропейской степной модели, вообще вычеркивает киммерийцев из списка реальных творцов этой модели, отправляя их «по ту сторону добра и зла». Видимо, дальше нет смысла «играть в прятки», и самое время определиться.

Киммерийский фактор – это фактор внешнего воздействия на население восточноевропейской степи позднейшего бронзового века. Под влиянием этого внешнего импульса, носителем которого были совершенно конкретные, небольшие отряды всадников, и произошла трансформация степного пастушеского населения в кочевников. В таком случае (если, конечно, не стоять на позициях «воинствующего автохтонизма»), нужно признать многокомпонентность предскифского общества юга Восточной Европы, в том числе и на Нижнем Дону. Миграционная составляющая будет почти очевидной, поскольку, в сложении культуры предскифского периода есть место и для восточных («сибирско-казахстанские» ножи, стела из Новоалександровки), и для западных (керамика из Новоалександровки, Алитуба, удила с D-образными внешними петлями), и для южных (влияние керамической традиции кобанской и протомеотской культур) импульсов. Это фактически признает и сам С.И. Лукьяшко (с. 193, 208). «Вещей мало!». Так и слышится сочувственная сентенция сторонников «вселенской классификации», которые уверенно чувствуют себя лишь в окружении беспорядочного нагромождения источников, предвкусывая их тщательный разбор и сортировку. И правда, вещей мало. Ну, а что прикажете ожидать в условиях сильнейшей демографической разрядки рубежа тысячелетий? Преобладание восточных или западных импортов? Тогда не остаются места для тех субстратных элементов, преемственная постепенность которых гарантирует жизнеспособность неистребимой идее автохтонного развития всего и вся. Эти субстратные элементы (инерция традиций позднебронзового века) действительно были основой культуры ранних кочевников в каждой отдельно взятой историко-географической области Великой Степи. Но основой рядовой, достаточно «безликой» и, если угодно, нетворческой. Основой, наслонившись на которую, внешние импульсы и стали катализаторами того качественного социо-культурного скачка, который и привёл к появлению культуры ранних кочевников (номадов) Евразии. Эволюция конного пастушества в степях юга Восточной Европы так и оставалась бы эволюцией «в бесконечность», чем она, собственно, и являлась, начиная с первых скотоводов эпохи палеометалла, если бы не два фактора. Первый – это глобальный экологический кризис в конце позднего суббореала (рубеж II–I тыс. до Р.Х.). Второй – это внешний катализатор (импульс) для местных, региональных процессов «протономадизации», более или менее синхронно протекавших в причерноморских, южнорус-

ских, волго-уральских, североказахстанских степях.

Восточнее Днепра процессы «протономадизации» начались, по-видимому, раньше, чем в Северо-Западном Причерноморье. За ними стоит резкое сокращение плотности памятников на востоке уже в конце II тыс., т.е. тогда, когда на западе ситуация выглядит все ещё достаточно стабильной. На смену довольно плотным культурно-демографическим анклавам приходят «рассеянные» по всему региону, чрезвычайно пёстрые и очень неудобные для типологизации памятники (=погребения), за которыми угадывается, прежде всего, резко возросшая подвижность населения, оставившего их. Демографическая разрежённость, снятие ограничений в межкультурных контактах, «свобода перемещений» приводят к трансляции отдельных элементов культуры в совершенно немыслимых ранее направлениях. Отсюда и обширные опустевшие области, внезапно оказавшиеся ареалами находок хроноиндикаторов других, достаточно далёких, но более стабильных, устойчивых в социально-экономическом смысле культур. Отсюда и программные заявления, требующие предоставить статус «культурно-исторической общности», к примеру, белозерской культуре, на основании отдельных находок в Поволжье, волго-донских степях и на Северном Кавказе.⁵

На рубеже II–I тыс. до Р.Х. локальные процессы «протономадизации», протекавшие в степях Восточной Европы практически повсеместно, стали ощущать на себе все более требовательные к восприятию трансляции восточного происхождения. Очагом (очагами) этого импульса были сибирско-казахстанские степные и горно-степные области, а его вектор (восток-запад) становится отныне традиционным для более чем двухтысячелетней эпохи кочевых сообществ Евразии. Археологически воздействие этого фактора фиксируют как находки отдельных предметов восточного происхождения, так и погребальные комплексы воинов-всадников. И те, и другие есть на Нижнем Дону.

Относительно первой категории источников С.И. Лукьяшко абсолютно уверен в том, что они появились на Дону «...в результате торговой деятельности населения степи» (с. 208). Что касается погребальных комплексов, то автор согласен с тем, что, к примеру, погребение в кургане 8 у с. Бирюково относится «...к редкому типу всаднических погребений» (с. 135).

⁵ По таким же признакам на подобный статус может претендовать кобанская культура Северного Кавказа или позднеприказанская (маклашевская) на Средней Волге. Элементы последней, согласно В.В. Отрошенко, образуют уже некую группу находок (или даже комплексов) в волго-донских степях (Отрошенко 2001: 187-188).

Впрочем, только наличие конской упряжи в погребении, видимо, не всегда будет чётким критерием принадлежности комплекса к категории «всаднических». Последний термин, как мне кажется, должен подразумевать всадника-воина, а не просто конного пастуха. И в том, и в другом случае наличие упряжи, безусловно, необходимо. Однако для воина-всадника элементы, её составляющие, должны быть как можно более совершенными и эффективными, разумеется, для своего времени. Минимальным условием совершенства и эффективности выступают жёсткие псалии и жёсткие удила. Элементами, способствующими восприятию комплекса как принадлежавшего конному воину, являются различного рода наременные бляхи, обоймы, распределители и пр. В комплекте со сбруей желательны также присутствие оружия, причём не только, а скорее всего – не столько стрелкового, сколько клинкового (меч, кинжал) или ударного (топор, клевец). Отнюдь не лишним было бы наличие в таком комплексе-архетипе конского костяка (полного либо частично). Ещё раз напомним, что речь идёт в данном случае о воине-всаднике самой ранней, предскифской эпохи. Понятно, что все эти атрибуты вместе образуют некий идеальный комплекс, находка которого – большая редкость. По мере стремления какого-нибудь конкретного комплекса к этому идеалу растёт и уверенность при отнесении его к всадническим. По мере удаления – всё больше оснований видеть в его хозяине конного пастуха, эволюцию образа которого венчают упомянутые процессы «протономадизации» конца II тыс. до Р.Х.

Реконструированный таким образом археологический комплекс воина-всадника предскифской эпохи попробуем теперь спроецировать на соответствующие древности Нижнего Дона. Привлекаются лишь бесспорные погребальные комплексы. Случайные находки и находки из кладов в расчёт не принимаются. Погребений, претендующих на статус «всаднических», насчитывается три. Ближе остальных к нему находится довольно раннее погребение у хут. Балабинка (с. 76). При скорченном костяке найдена пара бронзовых псалий черногоровского типа, однокольчатые бронзовые удила, золотая подвеска и пара ножей с горбатой спинкой (бронзовый и железный). Удила имеют овальные внешние петли, перпендикулярные грызлу. Данный признак, на мой взгляд, наиболее характерен для однокольчатых удил центральноазиатских областей. Далее следует уже упоминавшееся погребение у с. Бирюково (с. 37). Несмотря на наличие в погребении пары бронзовых черногоровских псалий, целого набора разнообразных

сбруйных блях из бронзы и даже части конского скелета, отсутствие жёстких (металлических) удил, скорее всего, ставит этот комплекс рангом ниже предыдущего. И, наконец, погребение из могильника «Царский» (с. 45) попадает уже, скорее, в категорию «конно-пастушеских». При вытянутом костяке находились пара роговых псалий и костяной наконечник стрелы.⁶

Признавая за восточным фактором основную роль в сложении культуры ранних кочевников юга Восточной Европы предскифского периода, следует также признать довольно заметным и западный, карпато-дунайский вклад в эту же культуру. О керамическом импорте и влияниях фракийской керамической традиции было сказано и в монографии (с. 174-175), и здесь. В качестве дополнения можно привести ещё и удила с D-образными внешними петлями, на средневропейское происхождение которых указывал ещё А.А. Иессен. Этот достаточно важный в перечне западных импульсов факт, по видимому, ускользнул от внимания С.И. Лукьяшко. Хотя похоже, что автор не различает обычные стремявидные удила и т.н. удила с «обратностремьявидными» петлями (они же – удила с D-образными окончаниями). Во всяком случае, в разделе, посвященном общей характеристике металлических удил предскифского периода из Нижнего Подонья, и те и другие сведены в одну группу – «удила со стремявидными окончаниями» (с. 161).⁷

Переходя от содержания монографии к её форме, можно отметить некоторые более или менее явные недочеты и просто неточности композиционного и стилистического характера. Большим неудобством в структуре монографии следует считать то, что отсылки на комплексы по тексту интерпретационной части не сопровождаются указанием номеров рисунков, соответствующих этим комплексам. Поэтому всякий раз необходимо довольно внимательно перелистывать книгу, а это не способствует её сохранности.

В главе 5, посвящённой суммарной характеристике типов погребального инвентаря, автор ограничился анализом лишь наиболее ярких

⁶ Вполне вероятно, что в группу «всаднических» вошло ещё несколько комплексов. В частности, Ростовский курган 1939 г. и комплексы кургана 12 группы Красногоровка-III. Так, если бы интерпретация комплекса находок из Ростовского кургана как инвентаря конкретного погребения была бесспорной, то его можно было поставить рядом с Балабинским.

⁷ Приводя аналогии удилам с D-образными внешними петлями из Ростовского кургана, автор ошибочно указывает на экземпляр из поселения Шолдэнешти в Молдавии (с. 162). Из Шолдэнешт происходит звено двукольчатых удил. А здесь, вероятно, имеется в виду обломок звена удил с D-образной петлей и несточенным литником из Сахарны.

хроноиндикаторов (оружие, упряжь, ножи, керамика). Таким образом, прочая мелкая «фурнитура» (пронизи, бляшки, в т.ч. восьмёрковидные, бусы, оселки, костяные пуговицы-бляшки) была обойдена вниманием. Хотя некоторые типы вещей из этого перечня, скажем, костяные пуговицы и восьмёрковидные бляшки, вполне заслуживают этого самого внимания.

Автор пользуется таким понятием, как «прогрессивный». При этом неясно, какой смысл в него вкладывается: «прогрессивные виды орудий» (с. 19), «прогрессивные черты ... группы памятников» (с. 20), и даже «прогрессивные черты погребального обряда» (с. 194). Если речь идёт о появлении чего-то более совершенного, то вряд ли это применимо к признакам погребального обряда. Если подразумевается просто появление в предскифский период каких-то новых элементов, изделий, черт и пр., то тогда это определение абсолютно неприемлемо для каменных топоров и молотков.

Выше я уже отмечал, что не всегда понятно, высказывает ли автор свою точку зрения, либо это «вольный пересказ» мнений дру-

гих исследователей. Например, можно лишь догадываться, что весьма пространная цитата, помещённая на стр. 191, вероятно, принадлежит Э.С. Шарафутдиновой.

Весьма небрежно составлена библиография. Мы не найдем в списке работ И.В. Синицына (1951), С.В. Махортых (1997), Б.Ф. Железчикова (1984), В.И. Погорелова (1988), В.Б. Виноградова (1963, 1972), С.С. Черникова (1965), И.Т. Чернякова (1977), А.М. Лескова (1984) и многих других, на которые есть отсылки в тексте. На некоторые работы неточно указаны выходные данные.

И всё же выход книги С.И. Лукьяшко следует всячески приветствовать. И, прежде всего, положительные эмоции вызывает сводно-каталожная часть монографии. Не всегда внятная, часто альтернативная интерпретация источников и авторское видение процессов культурогенеза в предскифский период мне представляются гораздо менее удачными. Однако, как бы там ни было, но это индивидуальный стиль, и это право автора на собственную точку зрения.

ЛИТЕРАТУРА

- Беспалый Е.И., Парусимов И.Н. 1991. Комплексы переходного и раннескифского периодов на Нижнем Дону // СА. №3. С.179-195.
- Дубовская О.Р. 1993. Вопросы сложения инвентарного комплекса черноговской культуры // Археологический альманах. №2. Донецк. С.137-160.
- Дубовская О.Р. 1994. Локальные зоны черноговской культуры // РА №2. С.15-29.
- Дубовская О.Р. 1997. Об этнокультурной атрибуции «новочеркасских» погребений Северного Причерноморья // Археологический альманах. №6. Донецк. С.181-218.
- Колотухин В.А. 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы – начале железного века. Киев.
- Колотухин В.А. 2000. Киммерийцы и скифы Степного Крыма. Симферополь.
- Отрошенко В.В. 2001. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи (культурно-стратиграфічні зіставлення). Київ.
- Сенаторов С.Н. 2000. Ранняя кизил-кобинская керамика из раскопок в Херсонесе // Археологические Вести. №7. СПб. С.159-163.
- Kossack G. 1980. "Kimmerische" Bronzen. Bemerkungen zur Zeitstellung in Ost- und Mitteleuropa // Situla nr.20/21. Ljubljana. S.109-143.
- Metzner-Nebelsick C. 1998. Abschied von den "Thrako-Kimmeriern"? – Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine // Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Hrsg. B.Hänsel u. J.Machnik. München. S.361-422.